

**Юлиан Семенович Семенов**  
**ОТЧАЯНИЕ**

---



[ebooks@prospekt.org](mailto:ebooks@prospekt.org)

## Отчаяние

*Светлой памяти моего друга Шандора Радо  
(«Дора») посвящаю*

И Аверелл Гарриман, посол Соединенных Штатов, работавший в Москве в самые сложные годы великого противостояния, и сменивший его герой сражений в Европе генерал Бэддл Смит передавали в государственный департамент сообщения, которые никак нельзя было считать сбалансированными.

Вольно или невольно они исходили в своем анализе русской ситуации из тех норм и законов, которые были записаны в их конституции и охранялись их прессой, конгрессом, сенатом, общественным мнением. Американские дипломаты, посещавшие редкие приемы в Кремле, не отрывали глаз от того стола, за которым стоял Сталин и его коллеги: они старались не пропустить ни единого перемещения, ни единого контакта членов Политбюро друг с другом; однако налицо было дружество и доброжелательная монолитность.

Шок, вызванный смещением маршала Жукова, которого западные эксперты прочили в члены Политбюро, прошел за год: сенсация на Западе недолговечна – их там каждый день

подбрасывают, успевай глотать. Постепенно Жукова забыли, ибо он остался жив и даже продолжал командовать военным округом.

...Главная ошибка американцев – после забвения «Дела» Жукова – заключалась в том, что они по-прежнему считали всех тех людей, которые выходили в кургузых пальто и кепках (кроме, пожалуй, Молотова и Вышинского) следом за Сталиным на Мавзолей первого мая и Седьмого ноября, единым, сконцентрированным целым, *командой*, подобной тому штабу, который собирал вокруг себя каждый президент Соединенных Штатов Америки.

Они считали, что после краха Троцкого и Бухарина (обоих терпеть не могли в Нью-Йорке за их революционную деятельность) Сталин остался с теми, кому верит беззаветно, как и они ему.

Они привыкли к тому, что рядом со Сталиным всегда стояли Молотов и Ворошилов, дальше – Жданов, Микоян, Каганович, Вознесенский, Маленков, Берия и Суслов.

Когда же однажды Георгий Маленков не появился на трибуне Мавзолея, часть дипломатов предположила, что аппаратчик переброшен на высший пост в Узбекистан, потому что, видимо, оттуда идет главный поток военной помощи

отрядам Мао Цзэдуна. Вопрос о том, кто победит в Китае, – вопрос вопросов для Сталина; не кто иной, как Троцкий, обвинял Сталина в том, что его политика привела к путчу Чан Кайши и разгрому коммунистов в этой пятисотмиллионной стране...

И лишь один человек – корреспондент британской газеты, никогда не рекламировавший то, что его дед был русским и заставил его выучить этот язык, – сделал довольно серьезный анализ глубинных явлений, происходивших в Кремле.

Именно он пришел к выводу, что «старая гвардия», окружавшая Сталина на Мавзолее, свои позиции теряет – это «мертвые души», хотя Сталин подчеркнуто дружески переговаривался с ними на трибуне, внимательно их выслушивал и улыбчиво соглашался со всем тем, что они ему говорили.

Именно этот журналист определил для себя группу молодых лидеров, которые шли за своим ледоколом – будущим преемником генералиссимуса Андреем Ждановым. Этими «младотурками» он считал члена Политбюро, заместителя Сталина в правительстве, председателя всемогущего Госплана Вознесенского, великолепно проявившего себя как член Государственного Комитета Оборона, и

нового секретаря ЦК Кузнецова, героя ленинградской блокады, занявшего ключевой пост Маленкова: кадры, армия, государственная безопасность. Им, этим ленинградцем, противостоял Берия, введенный в Политбюро вместе с Маленковым лишь в сорок шестом году. Теперь, однако, когда Маленков отправился в тот регион, куда в свое время был сослан бывший вождь Рабоче-Крестьянской Красной Армии Троцкий, маршал Берия остался один на один в своем противостоянии могущественной ленинградской тройке.

Версия, что Маленков руководил помощью Мао Цзэдуну, отвергалась англичанином; если такая помощь и существовала, то шла она через Алма-Ату, Монголию и Хабаровск.

Англичанин, все еще имевший как журналист определенные выходы на русских, узнал, что Ворошилов теперь руководил в Совете Министров культурой; это смехотворно – культурой в стране руководил Жданов; в Министерстве иностранных дел все большую силу набирал Вышинский; постепенно и аккуратно Молотова отводили в тень. Почему?

И британский журналист пришел к выводу: предстоит очередная схватка. Жданов, нынешний «человек №2», начал проводить свою русификаторскую политику. По Москве пошли

шутки, произносимые, впрочем, шепотом: «Россия – родина слонов». Действительно, из установок Жданова следовало, что все важнейшие изобретения в мире принадлежат Советам, время преклонения перед «гнилым буржуазным Западом» прошло; два грузина в Политбюро – слишком много, Сталин, постоянно подчеркивавший примат русского, – с ноября сорок первого, – мог пойти на то, чтобы пожертвовать Берия, вернув его в Грузию.

Опасаясь публиковать свой прогноз, чтобы не быть в тот же день выкинутым из Москвы, англичанин ограничился туманным комментарием по поводу того, что, видимо, в Узбекистане, да и вообще в Азии, предстоят серьезные перемены, если туда направлен такой авторитетный член Политбюро, каким по праву считается Маленков, постоянно стоявший на трибуне Мавзолея вместе с Лаврентием Берия.

...На самом же деле ситуация была куда более сложной и напряженной, чем мог предполагать англичанин, верно почувствовавший *нечто*, но незнакомый с великим таинством византийской интриги...

Все те дни, пока Исаев лежал в трюме и слышал над собою постоянный, изматывающий грохот двигателей, он видел только одно лицо – человека, который приносил миску ухи и, сняв наручники, бесстрастно следил за тем, чтобы все было съедено. Возможно, в уху мешали снотворное, потому что сразу после этого Исаев погружался в тупое и бессильное забытьё; противиться судьбе он был не в силах уже, воспринимая происходящее отстранение, равнодушно.

Однажды, правда, сказал:

– Я все время потный... Очень жарко... Можно принять душ?

– Никс фарштеен, – ответил человек, и тогда Исаев понял, что все эти дни уху ему приносил русский.

Не может быть, сказал он себе, чтобы наши проломили мне голову в порту; это какой-нибудь власовец; я не имею права ему открываться; какое же это было счастье, когда я добрел до нашего торгпредства, и открылся, и слышал своих, ел щи и картошечку с селедкой, и постоянно торопил товарищей, чтобы они выехали туда, где ждал помощи Роумэн с

запеленутым Мюллером, а они успокаивали меня, говорили, чтоб я не волновался, уже, мол, поехали; хотите еще рюмашку; надо расслабиться; вы ж дома, сейчас мы вас доведем до порта, тут оставаться рискованно, знаете ситуацию лучше нас, пойдете по седьмому причалу, там вас встретят, угощайтесь, дорогой...

Как же лихо меня перехватили, сонно думал он; стоило нашим отстать на сто метров всего, стоило мне остаться одному – и все! Я ж знал, что меня пасут, постоянно, каждодневно, ежечасно пасут, надо было бежать сквозь этот масляный, липкий провал портовой затаенной темноты и очутиться возле сходен нашего корабля, а я не бежал, у меня сил не было бежать, и какой-то вялый туман в голове до того мгновения, пока я не ощутил раскалывающий треск в темечке, и это было последнее, что я ощутил тогда, на берегу Атлантики, в душных тропиках, пропахших рыбой, мазутом и канатами, – у каждого каната в порту свой особый запах, странно, почему так?

...Утром тот же человек поднимал его, снимая с ног веревки, и вел в туалет; дверь закрывать не разрешал, внимательно смотрел, как он корчился над узкой горловиной гальюна; на корточках долго сидеть не мог: снова ломило в позвоночнике, как до того дня, пока его не вылечила индианка, когда ж это было? Как ее звали. Кыбывирахи? Или это вождь, ее муж? Ее



звали Канксерихи, кажется, так...

...На гвозде висел один лист белой бумаги, его приходилось долго разминать, потому что бумага была канцелярская, твердая, чуть ли не картон.

– Слушайте, – сказал как-то бессловесному человеку Исаев, – неужели на судне нет пипифакса?

– Никс фарштеен, – заученно ответил тот, надевая на запястья Исаева наручники.

...Он мог осознанно, поэтапно думать лишь утром, перед походом в гальюн – до ухи и перед ухой-ужином; все остальное время лежал в мокром беспмятстве, руки в наручниках, ноги повязаны, словно у коня в ночном, тело задеревеневшее, лишь изредка сведет судорогой икры, но он воспринимал эту судорогу как благо, свидетельство того, что жив, что происходящее не бред, а явь, самая что ни на есть реальность...

Он потерял счет дням, но понял, что плавание длится долго, потому что брюки не держались на нем – от жары похудел; попросил дать ремень.

– Никс фарштеен...

Через несколько дней он сказал:

– Переверните матрац, он мокрый, вы меня так живым не довезете, накажут...

– Никс фарштеен, – ответил человек, и в глазах у него сверкнуло ледяным, искристым холодом.

Однако назавтра, когда его повели в галюун, матрац заменили: вместо того, который превратился в мокрую, пропахшую потом и мочой труху, бросили пару байковых одеял. На одном из них он обнаружил выцветшее клеймо: «т/х Валериан Куйбышев».

...Значит, правда, сказал он себе; значит, все, что я гнал от себя все эти годы, чему запрещал себе верить, что постоянно рвало сердце, – правда.

С мучительным стыдом он явственно увидел лица Каменева, Кедрова и Рыкова, когда семнадцатилетним впервые переступил порог Смольного в Октябре. Он в три дня легко освоил вождение «мотора» и попеременно возил на французском авто Антонова-Овсеенко и Подвойского.

Отец проводил дни и ночи вместе с Мартовым и Либером; встречались редко, ночью, чаще всего под утро.

– Севушка, – говорил тогда отец, – ты с теми, кто не хочет думать о реальностях. Нельзя удержать власть в одиночку! Нельзя отбрасывать всех, кто начинал революцию в этой стране, сие чревато...

– Папа, даже мудрейший и честнейший Владимир Львович Бурцев кричит: «России нужна сильная личность, хватит болтовни, необходим порядок, пора действовать!» Это же страшно, папа: призыв к «сильной личности» означает путь в военную диктатуру и новую Монархию – пусть наполеоновскую, но монархию! А вы? предлагаете вы, меньшевики? Где ваша программа?

«Ждать»?! Но ведь придет новый Корнилов, расставит казаков по углам и вас же повесит на столбах вместе с нами и товарищами эсерами... Армия доведена до белого каления, армия готова на все: она не прощает проигранных войн...

– Лебедь, рак и щука, – вздохнул отец. – Когда сегодня Керенский назвал происходящее на улицах «бунтом черни», Мартов заклеил его как человека, объявившего гражданскую войну революции... Даже член партии Керенского чистейший Миша Гоц потребовал от Временного правительства программы... Да, мы подвержены извечной хворобе русского либерализма – болтовне и пустым дебатам, – но нельзя

требовать власти одной партии, это такая же диктатура, как бурцевская «сильная личность»... Я обещаю тебе поговорить с Бурцевым, Севушка, но не связывай себя накрепко с теми, кто играет азартную игру во власть...

– Предложение? – сухо спросил он отца. Как же мы умеем обижать максималистским тоном, как же безжалостны мы в вопросах, на которые нет и не может быть однозначных ответов...

Отец тогда посмотрел на него с укором:

– Думать, Севушка, думать... Ты прав, мы с Мартовым и Плехановым болеем традиционной болезнью – споры, поиск оптимального пути, составление резолюций, просчет вероятности, боязнь крутых решений... Все верно, сынок, на то мы и русские, но примет ли народ западноевропейскую модель революции, которую столь решительно предлагают Ленин и Троцкий? Об этом ты думал?

...Когда человек принес уху, Исаев *собрал* себя, был готов к *работе*: натужно сблевав в миску, он оттолкнул ее, отвалился на спину, застонал:

– Воды-ы-ы... Умираю... Скорей...

Он перешел на русский; да, я у своих, «т/х Куйбышев», но свой ли я этим своим?!

А если я им не свой, значит, пришло время работать.

Человек, испуганно глянув на Штирлица, прогрохотал по лестнице своими громадными ботсами, и, когда он убежал, а несъеденная уха со снотворным или какой иной гадостью, медленно зыбясь на металлическом полу, стекла в угол отсека, – в такт работе машин, – Исаев расслабился и сказал себе: времени тебе отпущено немного, начинай готовиться к тому, во что ты запрещал себе верить, – как можно верить перебежчикам вроде Баженова, Кривицкого, Раскольниковова?!

А ты, спросил он себя, ты, который был весь Октябрь в Смольном, ты искренне верил тому, что писали о нас в конце тридцатых? Нет, ты не верил, ответил он себе со страхом, но ты считал, что дома происходят процессы, подобные тем, что сотрясали республиканский Конвент Франции, – Марат, Дантон, Робеспьер... А кем ты считал Сталина? Робеспьером или Наполеоном? Отвечай, приказал он себе, ты обязан ответить, ибо врачевать, не поставив диагноз, преступно... Почему Антонов-Овсеенко тогда, в Испании, во время последней встречи, смотрел на тебя с такой плачущей, бессловесной тоской? Почему он не ответил ни на один твой вопрос, а сказал лишь два слова: «приказано выжить»? Почему он запретил тебе возвращаться домой? Почему он

повторял, как заклинание: *«Главное – победить здесь фашистов...»*

А почему ты отказался вернуться в Москву, когда тебя наконец вызвали – накануне войны?! Только ли потому, что ты считал невозможным бросить работу против нацизма?

Ты боялся, признался он себе, ты попросту боялся, потому что все те, кого начиная с тридцать седьмого вызывали в Москву, исчезли навсегда, бесследно, словно канули в воду...

Ты спрятался за спасительное антоновское «приказано выжить», ты решил ждать... Сын своего отца – ожидание никогда не приводит к победе... Точнее – «одно ожидание»... Не надо так категорично отвергать великое понятие ждать... Ждут все: и Галилей в тюрьме инквизиции, и палач, готовящийся к казни Перовской, и Станиславский, выходящий на генеральную репетицию, и тиран, замысливший термидор, и революционер, точно чувствующий ту минуту, когда необходимо выступить открыто и бескомпромиссно. Ты успокаивал себя придуманной самозащитой: крушение гитлеризма неминуемо поведет к изменению морального климата дома...

Не ускользай от самого себя, приказал он себе. Ответь раз и навсегда: ты верил, что Каменев,

Бухарин, Рыков, Радек, Кедров, Уншлихт – шпионы и враги?

Ты никогда не верил в это, сказал он себе и почувствовал освобождающее облегчение. Но тогда отчего же ты продолжал служить тем, кто уничтожил твоих друзей? За что мне такая мука, подумал он. Почему только сейчас у своих, ты должен исповедоваться перед самим собой?! Это не исповедь, а пытка, это страшнее любой пытки Мюллера, потому что он был врагом, а моих друзей убивали мои же друзья...

Он вспомнил их маленькую квартиру в Берне, вечер, отца возле лампы, книгу, которую он держал на своей большой ладони – нежно, как новорожденного; вспомнил его голос, а из всех отцовских фраз, которые и поныне звучали в нем, – особенно трагичные: «Отче святой, – говорили недовольные Годуновым патриарху Иову, – зачем молчишь ты, видя все это?» Но чем могло кончиться столкновение патриарха с царем? И патриарх молчал; «Видя семена лукавствия, сеямая в винограде Христовом, делатель изнемог и, только господу Богу единому взирая, ниву ту недобруя обливал слезами...»

А потом отец читал о некоем человеке князя Шестунова по имени Воинко, который донес на своего барина, и за это ему сказали царское жалованное слово и отблагодарили помещьем.

«И поощрение это произвело страшное действие: боярские люди начали умышлять всяко над своим барином, и, сговорившись человек по пяти-шести, один шел доносить, а других ставил в свидетели; тех же людей боярских, что не хотели души свои губить, мучили пытками и огнем жгли, языки резали и по тюрьмам сажали, а доносчиков царь Борис жаловал своим великим жалованием, иным давал поместья, а иным – из казны – деньги. И от таких доносов в царстве была большая смута: доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, даже жены доносили на мужей своих, а дети – на отцов, так что от такого ужаса мужья таились от жен своих, и в этих доносах много крови проливалось неповинной, многие от пыток померли, других казнили, иных по тюрьмам рассылали»...

Отец тогда оторвался от книги, внимательно посмотрел на сына и заключил: «Борис не мог проникнуться величием царского сана и почерпнуть в нем источник спокойствия и милости... Борис и на престоле по-прежнему оставался подозрительным... Он даже молитву придумал особую для подданных, при заздравных чашах. „Борис, единый Подсолнечный Христианский царь, и его царица и их царские дети на многие лета здоровы будут“...»



А знаешь, спросил тогда отец, сколько погибло в Москве от голода в ту пору? Не отгадаешь: полмиллиона человек! Зато хоронили всех за царские деньги, а хлеб купить, что немцы в Архангельск привезли, Борис запретил: «Негоже иноземцам знать про наши дела, мы самая богатая держава Европы, такого мнения и держаться станем!»

...Исаев услышал грохот торопливых шагов и сразу понял, что спускаются двое – один в бутсах, знакомый ему «никс фарштеен», а второй ступает мягче, видимо, в ботинках.

Действительно, второй был в лакированных туфлях на босу ногу, в плавках и с докторским чемоданчиком в руке.

– Эй, – сказал он, всячески избегая русских слов, – блют прессион, гиб мир ханд...

Исаев затрясся от приступа смеха, пришедшего изнутри как избавление от безысходности. Рта он не разжимал, губы пересохли, кровоточили; если позволить себе рассмеяться в голос, кровь потечет по подбородку, шее, груди, а у него выработалось особое отношение к себе – он постоянно видел себя как бы со стороны, так же оценивал свои поступки; не терпел неряшливости, был точен до секунды, всегда ощущал в себе часы, ошибиться

мог на пару минут от силы, жил по собственному графику, в котором не было таких слов, как «забыл», «не успел», «не смог».

– Пусть наручники снимет, – прошамкал Исаев. – Как же вы мне давление померяете?

– Никс фарштеен, – повторил тот, что в бутсах, и снял наручники.

...Исаев поверил в магию индейцев, убедившись в их великом, недоступном нам знании на собственном опыте; он научился сдерживать дыхание, учащать пульс, останавливать его даже; ну, меряй, подумал он, я тебе подыграю, испугаешься...

Через час его перевели в другое помещение, где не так грохотало и не было угарного машинного смрада, обтерли мокрым полотенцем и дали чашку воды – она была сладкой, без подмеси, поэтому проснулся он рано, часа за три перед тем, как должен прийти *уханосец*. Он был убежден, что не ошибается во времени, и не торопясь начал допрашивать себя, силясь понять, чего же от него хотят *свои*?

...На третий день корабль пришвартовался: голосов по-прежнему слышно не было. Спустился

«никс фарштеен», снял наручники, бросил пиджак и туфли, дождался, пока Исаев оденется, натянул ему на голову капюшон и, подхватив под руку, повел по скользким, маслянистым лестницам наверх.

На палубе, вдохнув свежего воздуха, Исаев упал. Сколько был в беспамятстве – не помнил, ощутил себя на кровати, шелковая подушка, мягкое, верблюжьей шерсти одеяло. Руки и ноги были свободны, пахло сухим одеколоном, чем-то напоминавшим «кёльнскую воду».

Он пошарил рукой вокруг себя, натолкнулся на лампочку, включил ее: стены комнаты были отделаны старым деревом, окна закрыты тяжелыми металлическими ставнями; в туалете нашел английскую зубную пасту, английское мыло.

Ты дурак, Исаев, сказал он себе; ты посмел грешить на своих и раскрылся, ты заговорил по-русски, чего не делал четверть века, тебе крышка, одна надежда и осталась – на своих. Мыслитель сратый, русскую смуту вспоминал! А чем она отличалась от тех, что были в Англии?..

## 2

– Здравствуйте, я ваш следователь, меня зовут Роберт Клайв Макгрегор. После того как мы проведем цикл допросов, вы вправе вызвать адвоката: если бы вы не были тем, кем были, мы бы дали вам право пригласить любого адвоката уже на этой стадии следствия.

– А кем я был? – поинтересовался Исаев.

– Мы располагаем достаточной информацией о вашем прошлом. Суть следствия заключается в том, чтобы во время нашего диалога окончательно расставить все точки над «i».

– Могу я задать вопрос?

– Пока мы не начали работу – да.

– Вы назвали свое имя, но я не знаю, какую страну вы представляете...

– Я представляю секретную службу Великобритании. Удовлетворены ответом?

– Вполне. Благодарю.

– Фамилия, имя, место и год рождения?

Исаев готовился к такому вопросу, он

понимал, что все зависит от того, кто, где и как будет произносить эти, казалось бы, столь простые слова, но, услышав их, ощутил растерянность, не зная, что ответить...

...Приученный двадцатью пятью годами к тому, чтобы анализировать, рассматривая и оценивая с разных сторон не то что слово, но даже паузу, взгляд и жест – как свой, так и собеседника, – Исаев был убежден, что своим, вернись он на Родину, и отвечать не придется, там все знают... Однако во время морского, столь страшного путешествия с «никс фарштеен» он раскрепощенно, с душащей обидой и презрением разрешил себе наконец услышать тот вопрос, который жил в нем начиная с тридцать шестого года, после процесса над Львом Борисовичем и Зиновьевым; «А, собственно, кто теперь знает обо мне, если Каменев, Зиновьев, Бакаев и даже курьер Центра Валя Ольберг – враги народа?»

В тридцать седьмом, когда один за другим исчезли те, кто строил ЧК, кто знал его отменно: Артузов, Кедров, Уншлихт, Бокий, Берзинь, Пузицкий, он ощутил зябкую пустоту, словно окончательно порвалась пуповина, связывавшая с изначалием; с осени тридцать девятого люди из Центра вообще перестали выходить на него.

Пакт с Гитлером он принял трагично, много пил, искал оправдания: объективные – находил,

но сердце все равно жало, оно неподвластно логике и живет своими законами в системе таинства под названием «Человек».

...Именно тогда Исаев заново прочитал книгу Вальтера Кривицкого, резидента НКВД в Париже, который выступил с разоблачением Ягоды, Ежова и Сталина. Исаев хорошо знал Кривицкого, у них было три встречи в Париже и Амстердаме во время прогулки на туристском катере по тихим каналам, над которыми медленно стыли чайки; тогда его отчего-то поразило, что они не кричали, как на берегу или в порту, странно...

Сразу после того, как уход Кривицкого стал сенсацией, в тридцать седьмом еще, Исаев затаился: «если он предал – значит, назовет имена Шандора, Треппера и мое». Цепь, однако, продолжала функционировать; отозвали трех товарищей – видимо, боялись за них, но потом докатилось, что дома их расстреляли...

Значит, Кривицкий хранил в себе то, что ему предписывал долг? Значит, он не открыл имен товарищей по борьбе с нацизмом? Значит, действительно он ушел по идейным соображениям? Предатель в разведке прежде всего открывает имена друзей, но ведь Вальтер знал Яна, Кима, но ни словом не упомянул о них...

...Кривицкого убили, он унес с собой имена товарищей, никто в Европе не был схвачен; значит, он выбрал путь политической борьбы против террора, а не измены?

Тем не менее Исаев тогда сменил квартиру и лег на грунт, стараясь понять, нет ли какой-то связи между происходящим дома и тем, что ежечасно затевалось в сером здании на Александерплац и в тех конспиративных квартирах, где он мог появляться, не вызывая подозрения у руководства. Как никто другой, он четко знал внутренние границы рейха: «это мое дело, это мой агент, это моя информация – не вздумай к ним прикоснуться; собственность».

Он заметил ликование в РСХА, когда пришло сообщение, что на партконференции из ЦК «за плохую работу» был выведен бывший нарком иностранных дел Литвинов; иначе, как «паршивый еврей, враг НСДАП», его в Германии не называли.

Именно тогда в баре «Мексике», крепко выпив, Шелленберг поманил пальцем Штирлица и, бряцая стаканами, чтобы помешать постоянной записи всех разговоров, которые велись тут по заданию Гейдриха, шепнул:

– Зачем война на два фронта? Ведь Сталин расстилается перед нами! Он капитулировал по

всем параметрам! Он подстраивается под наши невысказанные желания, чего ж больше?!

Штирлиц отправил зашифрованную телеграмму об этом из Норвегии, приписав, что ответа может ждать только один день, дал адрес отеля – не своего, а того, что был напротив. Через пять часов неподалеку от парадного подъезда остановился «паккард», вышли трое: заученно разбежались в разные стороны – рассматривать витрины; тот, кто сидел за рулем, отправился к портюе, пробыл там недолго, вышел, пожав плечами, сел в машину и уехал; троица осталась.

Через десять минут Исаев позвонил портюе, назвался Зооле – тем псевдонимом, который тогда знала Москва, спросил, не приходил ли к нему, директору Любекского отделения банка, господин высокого роста в бежевой шляпе.

– Он только что ушел, господин Зооле, очень сожалею! Хотите, чтобы я послал за ним человека? Возможно, он еще ждет такси.

– Нет, спасибо, – ответил Исаев, – пошлите вашего человека в отель «Метрополь», это наискосок, пусть оставит портюе письмо моего друга, он же принес мне письмо?

– Оно передо мной, господин Зооле, сейчас оно будет в «Метрополе».



В шифрописьюе говорилось: «Спасибо за ценнейшее сообщение. В Берлин вам возвращаться рискованно, позвоните в посольство, назовитесь и оставьте адрес, о вас позаботятся...»

Через полчаса Исаев, сломанный и раздавленный, выехал на аэродром и взял билет в Берлин...

А может быть, действительно в стране случилось самое страшное и к власти пришли те, кто хочет Гитлера? Кто же его хочет?

И он не посмел тогда дать ответ на этот вопрос – жалко, сломанно, с ощущением мерзкой гадливости к самому себе...

...Куда бы я отсюда ни бежал, сказал он себе тогда, понимая, что в который уже раз оправдывает себя, вымаливая у себя же самого индульгенцию, меня всюду будут воспринимать как оберштурмбанфюрера СС, врага, нациста, губителя демократии... Я лишен права сказать, кто я на самом деле, потому что враги начнут кампанию: «гестапо и НКВД умеют сотрудничать даже в разведке, совместимость»... Вальтер Кривицкий ушел чистым... Я служил в РСХА, я замаран тем, что ношу руны в петлицах и имею

эсэсовскую наколку на руке...

Ну ты, сказал он себе, вернувшись в Берлин, сейчас надо сделать все, чтобы вернуться – нелегально – домой. И уничтожить там тех, кто предал прошлое. Это высшая форма преступления – предательство прошлого. Такое не прощают. За это казнят... Ты способен на это? Или ты трус, спрашивал он себя требовательно, с бессильной яростью.

Эта мысль постоянно ворочалась в нем до того дня, пока он не прочитал фрагменты плана «Барбаросса», а затем в марте сорок первого получил шифровку из Центра, поначалу испугавшую его, ибо никто не знал его нового адреса: «Ситуация в Югославии складывается критическая, враги народа, провоцировавшие дома репрессии, ликвидированы, просим включиться в активную работу».

Исаев испытал тогда счастливое облегчение, уснул без снотворного, однако наутро проснулся все с той же мыслью: «Значит, ты все простили? Ты все забыл, как только тебя поманили пальцем?»

Но тогда он уже вновь обрел право дискутировать с самим собою, и поэтому он круто возразил себе: «Меня поманили не пальцем, я не проститутка, мне открыто

сообщили, что были репрессии и что с приходом нового наркома Берия прошлое кануло в Лету: Марат – Дантон – Робеспьер; революция не бывает бескровной...

– Я не стану отвечать на ваш вопрос, мистер Макгрегор...

Тот кивнул, закурил, пододвинул Исаеву «Винстон», записал ответ в лист протокола и перешел ко второму вопросу:

– Фамилии, имена, годы и места рождения ваших родителей?

– И на этот вопрос я отвечать не стану.

– Являетесь ли вы членом какого-либо профсоюза, партии, пацифистской организации?

– Прочерк, пожалуйста...

Макгрегор улыбнулся:

– Насколько мне известно, понятие «прочерк» присуще лишь тоталитарным государствам. Мы придерживаемся традиций. Я должен записать ваш ответ.

– Я не отвечу и на этот вопрос.

– Имя и девичья фамилия жены?

– Я не отвечаю.

– У вас есть дети?

– Не отвечаю...

Макгрегор перевернул страницу, снова закурил, заметив:

– С наиболее скучными вопросами, мы покончили, теперь перейдем к делу.

Он раскрыл вторую папку, достал оттуда фотографию Штирлица, сделанную кем-то в Швейцарии возле пансионата «Вирджиния», когда он искал несчастного профессора Плейшнера:

– Знаете этого человека?

– Чем-то похож на меня...

– Но это не вы?

– Нет, это не я.

Макгрегор пододвинул папку:

– Поглядите: там есть ваши фото в форме, вместе с Шелленбергом в Лиссабоне, данные из

вашего личного дела, характеристики...

Все верно: Макс фон Штирлиц, штандартенфюрер СС, истинный ариец, отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера, предан идеалам НСДАП, характер нордический, стойкий, спортсмен, порочащих связей с врагами рейха не имел, родственников за границей нет, фамилию не менял, никто из близких не был арестован гестапо...

– Этого человека знаете? – усмехнулся Макгрегор. – Или нужны очные ставки?

– Я бы не отказался от очных ставок.

– Вы их получите. Но лишь после того, как мы кончим наше собеседование.

– Мистер Макгрегор, собеседования не получится. Я не стану отвечать ни на один ваш вопрос.

Тот покачал головой:

– На один ответите: как вы себя чувствуете после столь отвратительного путешествия? Пришли в себя?

– Да, в какой-то мере.

– Врач не нужен?

– Нет, благодарю.

– Не сочтите за труд закатать рукав рубашки, я хочу сфотографировать номер вашей эсэсовской татуировки.

Исаев помедлил мгновение, понял, что отказывать глупо, отвернул рукав, дал сфотографировать татуировку – невыводимо-въедливую: тысячелетний рейх не допускал и мысли о возможном крахе, все делалось на века, прочно.

...А потом в эту комнату с металлическими тяжелыми ставнями ввели штурмбанфюрера СС Риббе из гестапо – сильно похудел, костюм болтается, глаза пустые, недвижимые, руки бессильно висят вдоль тела.

– Вы знаете этого человека? – обратился к нему Макгрегор.

– Да, он мне прекрасно известен, – монотонно-заученно отрапортовал Риббе. – Это штандартенфюрер СС Штирлиц из политической разведки, доверенное лицо бригадефюрера Шелленберга.

– Вам приходилось работать со Штирлицем?

– Нет.

– Благодарю вас, – с традиционным оксфордским придыханием учтиво заметил Макгрегор, – можете возвращаться к себе.

Следующим был Воленька Пимезов, бывший помощник Гиацинтова, начальника владивостокской контрразведки в двадцать втором – последней обители белой России.

– Знаете этого человека?

Воленька был в отличие от Риббе совершенным живчиком с сияющими глазами, похудевший, но не изможденный, на Исаева смотрел с восторженным интересом:

– Господи! Максим Максимович! Сколько лет, сколько зим! И вы здесь!

– Мистер Пимезов, – неожиданно резко, словно бы испугавшись чего-то, прервал его Макгрегор, – пожалуйста, без эмоций! Отвечайте только на мои вопросы! Вам знаком этот человек?

– Конечно! Это Исаев, Максим Максимович...

Макгрегор обратился к Исаеву:

– Вы знаете этого человека?

– Нет.

– Мистер Пимезов, – меланхолично продолжал Макгрегор, – когда, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с человеком, представленным вам к опознанию?

– Максим Максимович Исаев был ответственным секретарем газеты господина Ванюшина у нас во Владивостоке начиная с двадцать первого...

Исаев почувствовал, как сжало сердце, вспомнил громадину Ванюшина, его глаза, полные слез, когда он в номере хабаровского отеля, развалившись на шкуре белого медведя – главном украшении трехкомнатного люкса, – дал ему записочку из газеты: «Вы прочтите, прочтите повнимательней, Максим Максимович! Или хотите – я? Вслух? С выражением? А? Извольте: „Вчера у мирового судьи слушалось дело корреспондента иностранной газеты по обвинению в нарушении общественной тишины... Корреспондент этот, Фредерик Раннет, сказал своим гостям-иностранцам в ресторане, что в России можно любому и всякому дать по физиономии и ограничиться за это



штрафом... Заключив пари, Раннет подошел к лакею Максимову и дал ему оплеуху. Суд приговорил Раннета к семи дням ареста...“ А?! Каково?! И заголовочек: „В России все можно!“. У нас все можно, воистину! Вот мне давеча наш премьер Спиридон Дионисьевич Меркулов излагал свое кредо: „В репрессалиях супротив политических противников дозировка не потребна, друг мой! Тот станет у нас великим, кто пустит кровь вовремя и к месту – тогда пушай ее хоть реки льются... Это вроде избавления от болезни, это как высокое давление спустить, людскую страсть утихомирить! Главное – врагов назвать, от них беда, не от самих же себя?!“

– Что вы можете сказать о деятельности Исаева? – Макгрегор смотрел на Пимезова с легкой долей презрения.

– Блестящий журналист, «перо номер два», его обожали в Приморье...

– Что имеете добавить к этим показаниям?

– То, что в течение последних семи месяцев, перед тем как банды Красной Армии вошли во Владивосток, мы тщательно следили за Максим Максимычем, подозревая его, и не без основания, в том, что он является лазутчиком красных.

Макгрегор обернулся к Исаеву:

– Отвергаете?

Тот кивнул.

Макгрегор отпустил Пимезова (английский у бедолаги ужасающий, путает времена, слова произносит на русский лад), протянул Исаеву папочку розового цвета:

– Ознакомьтесь...

Исаев открыл папку и впервые дрогнул: прямо в его лицо смотрели горестные глаза Сашеньки Гаврилиной.

Он долго не мог оторваться от ее фотографии (отметил машинально, что это не подлинник, а копия), потом аккуратно прикрыл папку:

– Мистер Макгрегор, я бы хотел понять, чего вы от меня хотите? Возможно, это поможет нашему диалогу...

Тот согласно кивнул:

– Я готов ответить. Меня и мою службу интересует, на кого вы работали по-настоящему: на красных, Шелленберга или на представителя американской разведки мистера Пола Роумэна,

вместе с которым, начиная с сорок шестого года, развили бурную активность в Латинской Америке по розыску шефа гестапо Мюллера?

– Если я отвечу, что по-настоящему работал лишь на красных, это может оказаться некоторым конфузом для британской службы: допрашивать представителя русского союзника без сотрудника посольства...

– Вы совершенно правы, мистер Штирлиц-Исаев... Но ведь вы не сделали подобного рода заявления... Поэтому я допрашиваю вас как эсэсовского преступника...

– Значит, если я сделаю такое заявление, представитель русского посольства будет приглашен сюда?

Макгрегор пожал плечами:

– Кто же приглашает дипломатов на конспиративную квартиру секретной службы? Мы подыщем для этого другое место... Итак, я могу записать: вы признаете, что работали на русских?

– Да.

– Назовите имена тех, кто может поручиться за вас в Москве.

Исаев ощутил физически, как англичанин его ударил: кого он может назвать? Кого? Постышева? Блюхера? Каменева? Кедрова? Уншлихта? Артузова? Берзина? Кого?!

– Я считаю это нецелесообразным.

– Могу поинтересоваться: отчего?

– На этот вопрос отвечать не стану.

– Как нам сообщить русским ваше имя?

– А вы дайте им те имена, которые называли господа, вызванные вами для опознания...

– Хорошо, – и Макгрегор протянул Штирлицу свое вечное перо. – Пожалуйста, убедитесь в правильности ваших ответов и подпишите каждый.

Убедившись в том, что его ответы записаны верно – полное отрицание всего и вся, – Максим Максимович подписал каждый свой ответ.

Макгрегор спрятал бумагу в портфель, откланялся и, уже открыв дверь комнаты-камеры, задумчиво спросил:

– А если бы вам не постелили одеяло с клеймом «Куйбышева», вы бы заговорили по-

русски?

И, не дождавшись ответа, вышел.

Ночью Исаев уснуть не мог, заново анализировал всю беседу с этим придыхающим Макгрегором, то и дело возвращался к странному поведению Риббе – живой мертвец, что с ним сделали; потом от Пимезова перебрался памятью к последнему дню во Владивостоке, когда Ванюшин привел его к своему лакею Миньке, тот еще в доме ванюшинских родителей, при рабстве, был «мальчиком», и услышал слова его квартиранта, приват-доцента Шамеса, словно это не четверть века назад было, а только что, в этой странной деревянной комнате... Маленький, с пушкинскими баками Шамес тогда жарко вещал ему, Исаеву, и Ванюшину: «Если вы сможете зафиксировать электромагнитные волны, исходящие из мозга только что умершего, они будут такими же, как у живого. Они исчезнут лишь на третий день, когда – по нашему христианскому присказу – душа уйдет из тела... Да, да, я верующий, выкрест, хоть и говорят, мол, жид крещеный, что конь леченый... Поймите, и первый, и второй день покойник фиксирует все происходящее вокруг него! Я еще не ответил себе: организуется ли это слышимое в ужас там, в таинственном, распадающемся мозгу покойника? Ведь на самом деле выходит не душа, а энергия, мощь разума человеческого... Энергия не исчезает – в этом я согласен с марксистами.

Но если она не исчезает, значит, разум бесконечен, а человек духовно бессмертен? Покойник и после смерти оставляет здесь свои электромагнитные волны, и, если я проживу еще несколько лет и Россия не сожрет самое себя, я сконструирую аппарат, который запишет речи Нерона, плач Ярославны и невысказанные, то есть истинные, мысли Макиавелли... Не смейтесь! (Я действительно смеялся, вспомнил Исаев, я хохотал тогда.) Не зря говорят: „идеи носятся в воздухе!“ Стоит только настроиться на них, и тогда высший разум мира войдет в вас, и вы станете новым пророком, и вас распнут продажные торговцы, и все начнется сначала... Что вы смеетесь?! (Я смеялся; Ванюшин слушал заворуженно, с неизбывной тоской.) Вы просто не задумывались над тем, отчего все великие люди либо маленькие ростом, вроде Мольера, Наполеона, Пушкина, Лермонтова, Ленина, либо великаны, как Петр, Кромвель, Линкольн! А в чем дело? В том, что они вне среднего уровня человечества, поэтому им сподручнее настраиваться и принимать электромагнитные волны ушедших гениев...» Ванюшин тогда вздохнул: «Свернут вам голову, Рувим, либо наши изуверы, либо красные...» Шамес зашелся смехом: «Думаете, я боюсь? Нет, вообще-то я, конечно, трус, но за жизнь как таковую страха не испытываю. Почему? А потому, что я, как и вы, есть пустота! Вы касаетесь меня пальцем, и вы

ощущаете меня, но чем вы меня ощущаете и что вы ощущаете?! Тело состоит из атомов. А ведь атом – это ядро, вокруг которого в громадной пустоте вращаются крошечные невесомые электроны. В пустоте! Следовательно, вы прикасаетесь пустотой к пустоте! В мире нет массы! Есть энергия и магнитное поле! И все! Тело – миф! Мы бестелесны. Мы из атомов и пустоты, вода – из того же, дерево, корова, Достоевский, Тинторетто, Джоконда... Мы все подданные бестелесной материи, чего же бояться?!»

...Откуда англичане могли получить фото Сашеньки, спросил себя Исаев. Этот вопрос не давал покоя, рождал какое-то напряженное чувство, не оформившееся еще в мысль, но затаившееся во всем его существе.

Идет игра, ему это было ясно, идет по тем правилам, которые он не смог еще понять, но они, эти правила, были изощренными, безукоризненны по форме, но при этом как-то уж слишком упрятаны.

Этот Макгрегор легко доказал мне, что он знает про Штирлица, Исаева, про Сашеньку и, наконец, про Пола Роумэна. Это очень много, это успех, я в нокауте. Но отчего он не закрепил свою позицию наступлением? Почему? Англичане – при всем их такте – жесткие политики, их



национальный характер более всего проявляется в спорте: они подарили миру теннис, футбол и бокс, они умеют силовое, мотающе, но тактично атаковать, чего же не атаковал Макгрегор? Поэтому, его вообще не очень-то интересовали мои ответы, он добивался другого. Чего?

...Человек в полувоенной форме без погон вошел к нему с подносом, как и вечером: тарелка с овсянкой, кусок хлеба с сыром и чашка с жидким кофе. Как и вечером, он дождался, пока Исаев закончил завтрак, забрал тарелку в первую очередь, потом уже чашку и ложку.

– Когда у вас время прогулок? – спросил Исаев.

– У вас пока нет прогулок.

– Почему? Я наказан?

– Задайте вопрос тому, кто ведет ваше дело.

– А библиотека? Я могу пользоваться услугами тюремной...

– Здесь не тюрьма.

С этим человек вышел, мягко прикрыв за

собою массивную, на пневматике, дверь...

...Через пять дней снова пришел Макгрегор, протянул Исаеву листок бумаги:

– Распишитесь.

Исаев прочитал текст: «По настоянию штандартенфюрера СС Штирлица, который утверждает свою принадлежность к русской разведке („М. М. ИСАЕВ“), означенный Штирлиц передается советским властям».

Лихая закорючка вместо подписи под текстом: «помощник начальника отдела»; дата; ни номера, ни печати.

– Согласны с такого рода решением? – спросил Макгрегор.

– Абсолютно.

– Извольте дописать: «С решением согласен». И распишитесь. Той фамилией, которую сочтете более удобной.

– Устного согласия недостаточно?

– Нет. Вы, видимо, слышали, что множество русских отказываются вернуться домой, справедливо полагая, что их, как всех пленных,

которые заразились, – Макгрегор усмехнулся, – западным вольнодумием, отправят в Сибирь. Чтобы в будущем вы не вчинили нам иск за то, что мы отдали вас большевикам, извольте выполнить формальность.

Исаев подписал бумагу, Макгрегор кивнул ему и молча вышел.

Его привезли на загородный аэродром к дребезжащему полувоенному «Дугласу» с двумя рядами металлических стульев, закрытых тулупами, и с двумя кушетками в первом отсеке.

Возле двери пилотов, после молчаливого акта передачи Макгрегором таинственного пленника (по ночному городу везли с завязанными глазами; Исаеву почудилось, что дзенькал трамвай, как московская «аннушка» в те благословенные годы, когда был жив папа; странно – разве в лондонских пригородах ходят трамваи? Впрочем, почему я думаю, что это Лондон, а не Глазго или Манчестер?), капитан, назвавшийся Перфильевым, сердечно приветствовал Штирлица, и самолет с тщательно закрытыми иллюминаторами ушел в небо.

– К столу, Всеволод Владимирович, – Перфильев назвал его так, как последний раз называл Уншлихт в двадцать первом, когда встретились в Реввоенсовете республики: отправляясь во Владивосток, Владимиров, впрочем, тогда уже Исаев, был по рекомендации Держинского принят зампредом РВС Склянским, а потом, минут на пять всего, его пригласил к себе наркомвоенмор Троцкий.

...На ящике, укрытом газетами, стояли бутылка коньяка, банки шпрот, сардин и крабов; сырокопченая колбаса, сыр, сало.

Потрясли Исаева яйца, сваренные вкрутую; за четверть века отвык; на Западе так не готовят...

Или оттого, что выпил он большой фужер коньяку (капитан Перфильев только пригубил: «Я еще должен работать во время рейса, Всеволод Владимирович, не взыщите»), то ли оттого, что стало ему сейчас сладостно-спокойно, ушли из головы все эти «никс фарштеен», страшные унижения в гальюне, странный Макгрегор, вон всякий сор из головы, он – неожиданно для себя – отключился; такого с ним никогда не было...

...Проснулся оттого, что капитан тер ему уши:

– Всеволод Владимирович! Просыпайтесь! Садимся! Москва!

Было по-прежнему темно, все иллюминаторы зашторены. Когда Перфильев открыл дверь и выбросил металлическую лестничку, Исаев увидел звезды – улетал ночью, прилетел в ночь; такой же потаенный, без огней, загородный аэродром, большой автомобиль (он сразу вспомнил «ЗИС-101», такие были в советском посольстве на Унтер-ден-Линден, немцы очень потешались); подполковника с орденскими

планками.

– Товарищ Владимиров, от имени и по поручению командования разрешите сердечно поздравить вас с возвращением на родную землю! Подполковник Петров, отдан в ваше распоряжение.

– Спасибо, товарищ Петров... Сердечно благодарю за встречу... Мою семью предупредили? Мы сейчас поедem к ним?

– Командование приняло иное решение, товарищ Владимиров: нельзя травмировать вашу супругу и сына... Они считали вас погибшим, как и мы все... Их надо готовить к встрече, за это время и вы придете в себя, поехали!

...Дачка была небольшая, уютная, две спальни, столовая и кабинет, большая веранда, на кухне – настоящая русская плита; на веранде был накрыт стол. Петров представил молоденького лейтенанта: «Коля Штыков, стенограф, пока мы будем готовить ваших к встрече – дней семь на это уйдет, – надиктуете отчет о проделанной работе, поэтапно, с самого начала, на имя секретаря ЦК товарища Кузнецова. Он теперь курирует органы, герой ленинградской блокады, вы с ним вскорости увидите, он будет

визировать документы на ваше звание Героя. Тогда же все приостановилось, мы получили данные, что вы погибли тридцатого апреля...»

...Исаев работал неделю с упоением; худенький Коля стонал:

– Рука отваливается, Всеволод Владимирович! Пожалейте...

– А вдруг от радости у меня сердце порвется? Тогда как? Нельзя уносить с собою то, что знаешь, Николаша, давай помассирую пальцы, я дока в массаже.

Еще неделю, постоянно, возрастающе-требовательно торопя подполковника Петрова с переездом домой, в семью, Исаев продолжал работать: вычитывал надиктованное, дополнял, многое переписывал, работой увлекся, просил сделать вклейки, сам дивился своей памяти, а главное, тому, что было с ним все эти четверть века; на конец, удовлетворенный, подписал труд и пододвинул его Коле.

Подполковник Петров продиктовал текст, который надо было от руки написать секретарю ЦК Кузнецову: мол, прошу ознакомиться с итогом моей работы, возможно, потребуются

дополнения, я готов.

Потом улыбнулся своей открытой, доброжелательной улыбкой:

– И у меня для вас сюрприз, Всеволод Владимирович! Завтра едем домой. Сегодня день отдыха, прощальный пир с тостами.

Весь день играли в шахматы, катались в лодке по небольшому озеру, Исаев становился все более бледным, и руки делались ледяными; выехали в одиннадцать.

Коля шепнул:

– Войдем с боем курантов, праздник так праздник!

«ЗИС» неся по безлюдной Москве, которую Исаев не видел двадцать семь лет: совершенно другой город, много широких улиц, но в новых домах чувствуется до боли знакомая фундаментальность, отличавшая арийский вкус; откуда нашим архитекторам знать берлинские ансамбли, созданные при Гитлере?!

«ЗИС» летел на красный свет; немногочисленные пешеходы разбегались в стороны, а шофер то ли по рассеянности, то ли чтобы посмешить пассажиров, то ли оттого, что



заметил яму, крутанул руль в лужу и окатил старика с собачкой водой, а подполковник с Колей захохотали, и это заставило Исаева заново посмотреть на их лица.

– Ничего, обсохнет, – сказал Коля каким-то новым голосом, и в это время «ЗИС» въехал в приоткрытые ворота.

Машину окружили военные, распахнули двери, первым вылез подполковник Петров, за ним Коля. Подполковник, направляясь к темному зданию, коротко бросил, кивнув на Исаева:

– Оформляйте арестованного.

\*

...А в это время член Политбюро и секретарь ЦК ВКП (б) Георгий Максимилианович Маленков ехал в правительственном спецпоезде в Узбекистан и, прижавшись лбом к стеклу, в который раз уже обдумывал, чем он мог вызвать столь яростный гнев Сталина, отправившего его в азиатскую ссылку.

Он перебирал в уме все возможные варианты, но так и не мог ответить себе, что же с ним произошло на самом деле...

Да, после поездки по Калининской и

Новгородской областям он вернулся совершенно раздавленный: страна нищала, голод, пустые деревни, на полях всего несколько баб, копают картошку еле-еле, сил нет, одеты в рванье, какие там «Кубанские казаки»!

Да, чуток поспорил со Ждановым: в нынешнее время рискованно отъединяться от европейской науки, она необходима нам для реального прорыва к новому уровню технологии, только она позволит довести до конца проект в те сроки, которые назвал Иосиф Виссарионович. Пропаганда пропагандой, а промышленность промышленностью, тут заклинания не помогут, нужны реальные мощности, а не те, о которых печатают в победных газетных реляциях, работаем на станках прошлого века... Спор о немецких трофеях, которые не доставили на указанные заводы?

Но ведь сам Иосиф Виссарионович последнее время постоянно повторяет: «Не бойтесь спорить, не старайтесь заранее все согласовать по кабинетам; в свое время мы сутками спорили с Каменевым, а позже с Бухариным, ничего не случилось, договаривались добром или на время расходились, искали компромисс...»

Маленков повторил про себя «искали компромисс», усмехнулся; знаем, чем кончился «компромисс»... Неужели и со мною он так же

разойдется? А что ему? И не таких ставил к стенке...

Если не поможет Лаврентий – я кончен; обидно и горько: в несчастной России всегда уповали на ходатая; холопы; захочет ли Берия спасти его? Ему не поздно переориентироваться на Жданова... Тот оттер всех, блок с ним выгоден каждому...

Я еду в ссылку, повторил себе Маленков, я брошен в Ташкент, на укрепление... Ежова тоже бросили на укрепление водного хозяйства России...

За что?! Кто еще предан ему так, как я?! И Маленков, прижавшись еще крепче к стеклу, спросил себя: «предан»? Или «был предан»?

Зачем он играет нами, как пешками? Не офицерами или турами, а именно пешками?!

Что с ним? Ему еще нет семидесяти, откуда такие маразматические явления – нельзя предугадать утром, что случится вечером... Он и раньше был готов на все, что же меня ждет сейчас?!

А может быть, правду шептали о том, что после пятидесяти лет он совершенно изменился? Шептали, что у него открылась тяжелая форма

паранойи? Он же подозрителен, как жена-тиран...

С тридцать четвертого по тридцать восьмой Сталин пережил климакс, это говорили братья Коганы, консультанты Хозяина, – все в порядке вещей, ломка организма...

Наломал... Все наломали, поправил себя Маленков, ты себя не выводи за скобки, с ним пришел – с ним и уйдешь, если он тебя не шлепнет...

Неужели сейчас начался маразм? Обычный, всем знакомый старческий маразм?

Верочка Давыдова, первый голос Большого театра, рыдала в кабинете: «Георгий Максимилианович, я больше не могу, спасите меня! Он говорит такие слова, он такое делает...»

...Спецпоезд неся сквозь тьму, крошечную и непроглядную. Россия лежала во мраке – без огонька, истерзанная, в трагическом и безразличном запустении, а один из тех, кто должен был отвечать за нее, думал лишь о той шахматной доске, на которой офицеров и ферзей не сбрасывали – расстреливали: что ему до России?! Своя рубашка-то ближе к телу!

Над дверью камеры горела лампа; от нее, казалось, никуда не спрячешься, как и от тех размеренных, нарочито громких шагов надзирателей, которые менялись, неестественно громко выкрикивая: «Пост по охране врагов народа сдан!» Вторивший ему отклик был столь же громким, торжествующим: «Пост по охране врагов народа принят!»

Вот я и приобщился, сказал себе Исаев. Только теперь я до конца понял, что два эти слова звучат дома как высшая награда за верность революции; все стало на свои места; наконец-то...

Камера была маленькая; крошечное оконце забрано не только решетками, но и «намордником» снаружи.

Но почему этот стенограф Николаша, подумал вдруг Максим Максимович, весело глядя мне в глаза, обещал войти в мой дом с боем курантов, чтобы праздник был настоящим? Ведь он знал, что меня ждет; почему он глумился над моей надеждой? А что ему было делать, возразил себе Исаев. Смотреть на меня как на врага? Ему же сказали: «Это враг народа». А он поверил? Почему нет? Поэтому и вел себя по-дружески, иначе я бы не стал работать с таким

вдохновением, как работал на даче, вспоминая структуру моего прошлого, прикидывая вариантность настоящего и вероятия будущего.

Да, но какие, собственно, у него были основания смотреть на меня как на врага?! Ты пришел из-за кордона, ответил себе Исаев, надо еще разобраться, ты это или нет? Но ведь дома Сашенька! И мой Санька должен быть дома! Должен! Это так просто – опознать меня! Нет, все страшнее, сказал он себе. Я – ладно, «фигура умолчания», они меня впервые видят... А вот какие были основания у таких же пареньков смотреть на Каменева и Бухарина как на шпионов и врагов? Ведь им, тем паренькам, было лет по двадцать пять, они не могли не помнить, как десять лет назад шли по Красной площади, приветствуя вождей: Бухарина, Троцкого, Каменева, Сталина, Зиновьева... Нет, там работали не пареньки, возразил он себе, это невероятно, чтобы с Зиновьевым имел дело стенограф Николаша, не ложится в логическую схему; с теми лидерами работал высший эшелон. Нет, подумал он, старая гвардия не могла работать против Каменева или Бухарина, Постышева или Блюхера. Все сходится: Бухарина и Рыкова судили, когда исчезли все те, кто начинал в ЧК с Дзержинским. Нет, неверно, одернул он себя; когда прошел первый процесс тридцать пятого года, когда Каменев и Зиновьев

приняли на себя моральную ответственность за гибель Кирова и были осуждены на тюремное заключение, ветераны еще были на своих местах. Нет, не были, устало возразил он себе: Ягода пришел в ЧК лишь в двадцатом управляющим делами, чисто хозяйственная работа. Кто ж его внедрил к Дзержинскому? Во время гражданской он был на Восточном и Южном фронтах, на Юге сидел Сталин... Не может быть, что генсек уже тогда начал расставлять на ключевые посты своих... Почему? Вспомни, как планировал свой тридцать четвертый год Гитлер? Он его придумал в двадцать пятом, ждал мести девять лет, все эти годы обнимался с теми, кого внутренне уже приговорил к смерти, – Рэмом и Штрассером...

...Исаев заложил руки за голову, потянулся; презирая себя, начал хрустяще ломать суставы пальцев, ощутил мучительную потребность в крепкой сигарете, не в тех папиросах «Герцеговина Флор», что его угощали на даче, а в хорошем «Кэмеле», который так любил Шелленберг...

Началась новая полоса в жизни, и в ней, в этой новой жизни, я обязан сориентироваться сейчас, загодя, пока не пошли допросы и все такое прочее, а без сигареты трудно думать – привычка. Он вспомнил пословицу: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»... Ведь было сообщено еще в двадцать восьмом, что Михаил

Сергеевич Кедров, входивший в первую коллегия ЧК, был отчего-то переведен в члены «Спортинтерна», а ведь при Дзержинском он был председателем Особого отдела. Кто ж его вывел из ГПУ за полгода перед ударом по Бухарину? Почему я раньше не задумывался над этим? Потому что на расстоянии родина видится особенно прекрасной, и всякий, кто говорит о ней плохо, – враг, услышал он свой голос, прекрасно понимая, что это ложь, отговорка, оправдание самому себе...

Менжинский умер пятидесятишестилетним, за год до смерти был совершенно здоров, умер, как по заказу, – накануне подготовки процессов... Контрразведчика Бокия перебросили на тюремное ведомство тоже в конце двадцатых, освободив его место для людей новой волны... А другой заместитель Феликса Эдмундовича – Уншлихт? Его перевели в армию, поставили на авиацию... Почему? А Трифонов? Ксенофонтов? Почему их разбросали по другим ведомствам?

Как это страшно, что правдиво говорить с самим собою я начал только в тюремной камере, подумал Исаев. А ведь все то, о чем я сейчас думаю, было мне известно давным-давно, но я сознательно отталкивал факты, запрещал себе ставить вопросы, а пуще того – думать об ответах. Я знал, что эти вопросы требуют ответа,



знал! Ну и как объяснить то, что ты добровольно делал из себя идиота?! Запрет на мысль – идиотизм, форма шизофрении. Неужели идее нужны идиоты?

Кто и как мог принудить Каменева и Зиновьева взять на себя моральную ответственность за убийство Кирова? Кто и как? Ни Менжинского, ни Кедрова, ни Бокия с Уншлихтом не было уже на ключевых постах; людей Дзержинского загодя раскидали. Значит, с Каменевым и Зиновьевым в тридцать четвертом работали новые кадры. Кто они? Каким образом они смогли получить у них признания? Почему Каменев подтвердил эти признания на открытом процессе, когда мог все отрицать? А мог ли? Или во всех нас заложен синдром перепада? В январе девятьсот пятого люди шли за помощью к царю, несли хоругви, его лики, а назавтра после расстрела начали жечь его портреты; то же в феврале семнадцатого... Верим, верим, верим, а потом, внезапно изверившись, начинаем жечь и громить... За что боролись – и в пятом, и в семнадцатом? В конечном счете за жизнь, за что же еще?! Неужели Каменев с Зиновьевым в тридцать пятом боролись лишь за свою жизнь, отказавшись от Идеи?!

Ты строишь умозаключения, сказал себе Исаев. Ты не сможешь ответить ни на один из вопросов, которые ставишь; только завтрашний

день, когда ты встретишься лицом к лицу с теми, кто поведет допрос, позволит тебе нащупать нечто...

И тут он услышал бой кремлевских курантов – близкий, явственный; как он ждал этого перезвона курантов там, в рейхе, оттачивая карандаши, чтобы настроиться на волну радиостанции «Коминтерн», когда на связь выходил Центр! Как сладостно замирало сердце и наворачивались слезы на глаза... Но ведь тогда ты не вспоминал ни Каменева, ни Бухарина, ни Тухачевского, хотя знал, документально знал, что они никогда не были шпионами! Ты был тогда предателем, Исаев! Ты предавал свою память, а значит, память идеи и народа, придумывая успокоительную ложь: мол, главное – это борьба против немецкого национального социализма. Сначала свалить Гитлера, потом разберемся с тем, что произошло дома...

...Назавтра на допрос не вызвали; днем вывели на прогулку, предупредив, что за переговоры с другими арестованными он будет посажен в карцер, – полное молчание, любой шепот фиксируется.

И снова ударило по сердцу, когда он, вышагивая по замкнутому дворику, услышал бой часов кремлевской башни, совсем рядом, сотня метров, полтысячи – все равно рядом.

А ведь я у себя дома, подумал он. Я на Лубянке, где ж еще?! Я там, откуда уехал к Блюхеру в Читу в двадцать первом, я там, где последний раз был у Дзержинского... Что же он сказал тогда? Он как-то очень горько говорил, что память отцов хранят дети, что к обелискам он относился отрицательно, да и Древний Рим доказал всю их относительность... К тому же людям вашей профессии, усмехнулся он тогда, обелисков не ставят, маршалы без имени, о которых никогда не узнают победители-солдаты...

...Только тогда куранты другое вызванивали – фрагмент из нашего гимна, из «Интернационала», а ни гимна этого нет, ни Коминтерна; распустили; ты и это съел, запретив себе думать, отчего в сорок третьем, когда коммунисты Тито и Прухняк, расстрелянный друг Дзержинского, генсек польской компартии, Дюкло и Тольятти особенно активно сражались в подполье против Гитлера?! Хотя польскую компартию вообще распустили еще в тридцать восьмом – здесь, в Москве, именно на Коминтерне, как шпионско-фашистскую, а весь ЦК расстреляли. Гейдрих ликующе объявил об этом руководству: «Они сожрут друг друга!» И я поверил в то, что Прухняк – агент гестапо? Почему Коминтерн, Третий Интернационал, провозглашенный Лениным и Зиновьевым,

коварно распустили в Уфе в сорок третьем?! Не в июле сорок первого, когда надо было потрафить союзникам, ненавидевшим эту организацию, а уже после перелома в войне? Почему? Чтобы работать в Восточной Европе иными методами? Не ленинскими? Державными? Но ведь это было уже в прошлом веке, а к чему привело?

...Как же ты виртуозно уходишь от ответов, товарищ Исаев, он же Владимиров, он же Штирлиц, он же Бользен, он же доктор Брунн, он же Юстас, сказал он себе, но снова что-то мерзкое, плотски-защитное родилось в нем, позволив не отвечать на эти вопросы, рвущие сердце, а переключиться на правку вопроса: «Ты растерял самого себя, Максим, ты путаешься в себе, ты никогда не был „товарищем Исаевым“, ты был „товарищем Владимировым“, Исаев сопрягался с „господином“, „милостивым государем“ – твой первый псевдоним в разведке Максим Максимович Исаев, и свое конспиративное имя и отчество ты взял в честь Максима Максимовича Литвинова, папиного друга, хотя отец всегда был мартовцем, а Максим Максимович Литвинов – твердолобый большевик, которого сняли с поста народного комиссара иностранных дел, чтобы он не нервировал Гитлера и Риббентропа: „паршивый еврей“...»

...Когда спустя долгие четыре недели и три дня его повели на допрос и два надзирателя в *погонах* (он не обратил внимания на погоны, когда его *обрабатывали* перед тем, как закупорить в камеру, слишком силен был шок) постоянно ударяли ключами о бляхи своих поясов, словно давая кому-то таинственные знаки, Исаев собрался, напряг мышцы спины и спокойно и убежденно *солгал* себе: «Сейчас все кончится, мы спокойно разберемся во всем, что товарищам могло показаться подозрительным, и подведем черту под этим бредом». Услыхав в себе эти успокаивающие, какие-то даже заискивающие слова, он брезгливо подумал: «Дерьмо! Половая тряпка! Что может показаться подозрительным в твоей жизни?! Ты идешь на бой, а ни на какое не „выяснение“! Все уж выяснено... Ты трус и запрещаешь себе, как всякий трус или неизлечимо больной человек, думать о диагнозе».

...Следователем оказался паренек, чем-то похожий на стенографа Колю: назвал себя Сергеем Сергеевичем, предложил садиться, медленно, как старательный ученик, развернул фиолетовые страницы бланка допроса – из одной сразу стало четыре – и начал задавать такие же вопросы, как англичанин Макгрегор: фамилия, имя, отчество, время и место рождения. Исаев

отвечал четко, спокойно, цепко изучая паренька, который не поднимал на него глаз, старательно записывал ответы, однако – Исаев ощутил это – крепко волновался, потому что сжимал школьную деревянную ручку с новым пером марки «86» значительно сильнее, чем это надо было, и поэтому фаланга указательного пальца сделалась хрустко-белой, словно в первые секунды после тяжелого перелома.

После какой-то чепухи, тщательно, однако, фиксировавшейся (на чем добирались из Москвы до Читы; какое ведомство покупало билет, сколько денег получили на расходы, в какой валюте), он неожиданно поинтересовался:

– Какого числа Блюхер отправил вас в Хабаровск на связь к Постышеву?

– Это же было четверть века тому назад, точную дату я назвать не могу.

– А приблизительно?

– Приблизительно осенью двадцать второго...

– Осенью двадцать второго, – чеканно, поучающе, назидательно повторил Сергей Сергеевич и вдруг шлепнул ладонью по столу: – Ленин тогда провозгласил: «Владивосток далеко, а город это наш».

– Значит, это была осень двадцать первого.

– Перед отправкой в Хабаровск к белым Блюхер и Постышев инструктировали вас?

– Инструктировал меня Феликс Эдмундович...

Сергей Сергеевич закурил «беломорину», пустил дымок к потолку, заметил взгляд Исаева, которым тот провожал эту пепельно-лиловую струйку табачного дыма, и, глядя куда-то в надбровье подследственного, уточнил:

– Вы хотите сказать, что к Блюхеру и Постышеву вас отправлял лично Дзержинский?

– Да.

– Что он говорил вам?

– Обрисовал ситуацию во Владивостоке, попросил держать связь с ним через Постышева, тот, видимо, отправлял мои донесения Блюхеру, а от него они шли в Москву...

– Дзержинскому?

– Этого я не знаю.

– А в Реввоенсовет Блюхер не мог отправлять ваши донесения?

– Думаю, что в Реввоенсовет их отправлял Феликс Эдмундович...

– Троцкому? – спросил Сергей Сергеевич и еще крепче сжал ручку своими тонкими пальцами.

– Скорее всего Склянскому, заместителю предреввоенсовета страны Троцкого...

– Но вы допускаете мысль, что Дзержинский отправлял ваши донесения Троцкому?

– Вполне, – ответил Исаев.

Сергей Сергеевич как-то судорожно вздохнул, отложил ручку трясущимися пальцами и осведомился:

– Курите?

– Да.

Он достал папироску и протянул ее Исаеву.

– Пожалуйста.

– Спасибо.

– Продолжим работу, – сказал Сергей Сергеевич и снова вцепился в ручку. – Считаете ли вы возможным, что и Троцкий ставил перед



вами оперативные задания, особенно накануне волочаевских событий?

– Считаю такое возможным, ведь в то время Троцкий возглавлял Красную Армию...

– Вы настаиваете на этом утверждении? – безучастно поинтересовался Сергей Сергеевич. Исаев не понял:

– На каком именно?

Сергей Сергеевич зачитал ему текст:

– «Троцкий возглавлял Красную Армию»... Я правильно записал ответ? Искажений нет? Вы возражайте, если не согласны с моей записью... Вы правьте меня, это ваше конституционное право...

– Записано правильно.

– Скажите, а в тех инструкциях, которые вы получали из Центра, не было ли каких-то настораживающих вас моментов?

– То есть? – Исаев, внимательно следивший за каждой интонацией следователя, за каждым мускулом его плоского, совершенно бесстрастного лица, не понял смысла вопроса: как можно было сомневаться в указаниях

Дзержинского?

– Фамилия Янсон вам говорит что-нибудь?

– Какого Янсона вы имеете в виду? Их было несколько: Николай, Яков...

– Я имею в виду того, который вместе с Блюхером вел переговоры с японцами в Дайрене, – уточнил Сергей Сергеевич.

– Лично с ним я не встречался, но фамилия эта мне известна.

– Я хочу познакомить вас с его показаниями, данными здесь, на следствии: «Лишь значительно позже, в конце тридцать третьего года, когда я активно включился в работу запасного троцкистского центра, Зиновьев сказал мне, что Троцкий переписал тезисы наркоминдела Чичерина, исправив их в том смысле, как это было угодно японским милитаристам. Тогда, в Дайрене, я отчетливо понимал, что наша позиция носит несколько странный, излишне бескомпромиссный характер, однако Блюхер держался этой линии неотступно. Зиновьев, когда мы встретились на даче в Ильинском летом тридцать третьего, совершенно определенно заявил, что Блюхер проводил политику Троцкого, чтобы спровоцировать выступление японцев и затем,

после нашего неминуемого отступления, отдать им те территории, на которые они претендовали, в обмен на унижительный мирный договор». Что вы думаете по этому поводу?

– Я хочу ознакомиться с показаниями Янсона...

– Вы что, мне не верите? – Сергей Сергеевич обидчиво удивился. – В таком случае можете заявить отвод...

– Я не сказал, что я вам не верю. Я прошу разрешения ознакомиться с показаниями Янсона...

– Я вас с ними ознакомил.

– Это вздор. В Дайрене была занята правильная позиция. Советская делегация вела переговоры мастерски и мужественно – почитайте белогвардейскую прессу той поры, японские газеты...

– Итак, я формулирую ваш ответ: «Показания Янсона являются клеветническими»... Так?

– Что значит «я формулирую»? – Исаев не понял.

– Я формулирую ваш ответ для записи в

протокол допроса. В протокол нелепо вводить слова типа «вздор», нас с вами не поймут... Вопросы и ответы должны быть конкретными, а не эмоциональными.

– Нет уж, давайте-ка я буду формулировать ответы сам, Сергей Сергеевич...

– У вас потом будет право прочитать документ и внести собственноручные изменения.

– Почему «потом»? Если право есть, оно должно существовать постоянно, а не «потом».

– Хотите писать ответы собственноручно?

– Да, предпочел бы.

– У вас есть какие-то претензии к методу и форме ведения допроса?

И Максим Максимович после паузы ответил:

– Нет.

Следователь быстро поднялся из-за стола, подошел к Исаеву, протянул ему свою ученическую ручку и, словно фокусник, растопырив пятерню, резко развернул бланк протокола допроса так, чтобы можно было

писать подследственному:

– Пожалуйста, внесите в протокол этот ваш ответ собственноручно.

Русский Макгрегор, подумал Исаев, разбирая ученический почерк следователя, – парень продолжал писать по-школьному, с нажимом, буквочка от буквочки, а три ошибки все равно засадил, не знает, где и как ставить мягкий знак.

– У вас тут ошибки, – заметил Исаев. – Мне исправить или вы сами?

Сергей Сергеевич покраснел – по-девичьи, внезапно; потом, однако, лицо его сделалось пепельным, синюшно-бледным, он вернулся на свое место, медленно размял папиросу, закурил и, уткнувшись в протокол, начал изучать его: слово за словом, букву за буквой; ошибки свои не нашел или же намеренно не стал исправлять их.

Закончив чтение первого листа бланка допроса, он проверил, заперты ли дверцы стола, и сказал:

– С места не подниматься, к окну не подходить – все равно первый этаж, я скоро вернусь, продолжим работу.

Он вернулся через сорок два часа, когда Исаев

свалился со стула.

– Простите, пожалуйста, – испуганно говорил Сергей Сергеевич, усаживая Исаева, – у меня с отцом случилась беда, увезли в больницу, я так растерялся, что никого здесь не успел предупредить. Извините меня, такая незадача, – он подбежал к двери, распахнул ее и крикнул в пустой коридор: – Юра, позвони, чтоб срочно принесли две чашки кофе и бутерброды!

– Разрешите мне вернуться в камеру, – попросил Исаев. – Я не в состоянии отвечать вам...

– А вы думаете, я прилегу хоть на минуту? – следователь ответил устало, с каким-то безразличием в голосе. – У отца инфаркт, я все это время провел в приемном покое, тоже еле на ногах стою... У меня всего несколько вопросов, вы уж поднатужьтесь...

– Ну давайте тогда скорее...

– Всеволод Владимирович, может, я касаюсь самого больного, – следователь сейчас был мягок и чуточку растерян, конфузился даже, бедный мальчик, – скажите, кем по партийной принадлежности был ваш отец?

– Это же все есть в моем личном деле...

– Оно погибло, вот в чем вся беда, това... Всеволод Владимирович... Сгорело в сорок первом, когда наши архивы вывозили в Куйбышев... Поймите меня правильно, если б мы имели ваше личное дело, неужели вы б здесь сейчас сидели?

А может, действительно он говорит правду, подумал Исаев, ощутив в себе рождение затаенного тепла надежды. Тогда понятно все происходящее, доверяй, но проверяй, так вроде бы говорили...

– Мой отец был меньшевиком...

– А я не верил в это, – вздохнул Сергей Сергеевич и как-то даже обмяк. – В голове такое не укладывалось...

– Почему? Другие были времена... Отец в свое время дружил с Ильичем, несмотря на идейные разногласия.

– До революции?

– Да.

– В какие годы? Где встречались?

– Особенно часто в Париже, в одиннадцатом...

– А потом?

– Последний раз в Берне, когда обсуждался вопрос о выезде в Россию, это была весна семнадцатого...

– Вы присутствовали на этой встрече? Кто там был?

– Там было много народу, встреча была у нас дома: Мартов был, Аксельрод, кажется...

– Зиновьев, – подсказал следователь.

– Конечно, был и Зиновьев... А как же иначе? Он ведь первым с Ильичем уезжал, мы – только через месяц, с Мартовым...

Вошел надзиратель с подносом, на котором стояли стаканы с кофе и четыре бутерброда с колбасой и сыром...

– Угощайтесь, Всеволод Владимирович, – предложил следователь, старательно заполняя бланк допроса.

– Давайте поскорее закончим, – попросил Исаев, – тогда я съем бутерброды и вы меня отправите в камеру, не то я прямо тут усну...

– Мы практически закончили, ешьте...



Когда Исаев подписал бланк, следователь снова вышел из кабинета, сказав, что он позвонит в больницу узнать, как здоровье отца; вернулся на следующий день.

...В тот миг, когда голова Исаева сваливалась на грудь и он засыпал, сразу же появлялись два надзирателя:

– Спать будете в камере!

...Сергей Сергеевич появился уставший, с синяками под глазами:

– Чуть-чуть лучше старику, – сказал он. – Еще несколько вопросов, и пойдете отдыхать.

– Тварь, – тихо сказал Исаев. – Ты маленькая гестаповская тварь, вот ты кто. Отвечать на вопросы отказываюсь. Требую твоего отвода.

– Это как начальство решит, – рассеянно ответил Сергей Сергеевич. – Я доложу, конечно, а пока продолжим работу: вы жили с отцом в одной квартире? Формулирую: являясь работником ЧК, вы жили в одной квартире с меньшевиком и не отмежевались от него. Так?

А чем он виноват, этот несчастный Сергей Сергеевич, спросил себя Исаев. В стране произошло нечто такое страшное, что и

представить нельзя. Передо мной не человек. У него в голове органчик, как у щедринских губернаторов, бесполезно говорить, непробиваемая стена. А я погиб. Все. Если б я один – не так страшно... Но со мною они погубят и Сашеньку, и Саньку, теперь я в это верю.

\*

Накануне беседы с генералиссимусом Хрущев не спал почти всю ночь.

В который раз уже он задавал себе такой простой и столь же унижавший его вопрос: говорить ли вождю – один на один – всю правду или «скользить», как это было принято сейчас в Политбюро, ЦК, Совмине, обкоме, правлении колхоза, деревенском доме и даже городской коммуналке, где, по секретным подсчетам группы киевских статистиков, на семью из пяти человек приходилось семь квадратных метров жилья; дед с бабушкой спали на кровати, муж с женой – на диване, дети – на полу.

Засуха сорок седьмого сожгла поля Украины, Поволжья, Молдавии, Центральной России.

Семенных запасов уже не было – хлеб в колхозах забирали в счет обязательных поставок подчистую, деревенские амбары кишели худющими крысами, врачи открыто говорили о

возможности вспышки чумы.

Сталин тем не менее подписал указание: Украина обязана поставить не менее полумиллиона пудов зерна; Хрущев отмолил снижение контрольной цифры до четырехсот тысяч.

Решился на это (звонил лично Сталину по ВЧ; номер набирал негнушимся пальцем, чтобы скрыть от самого себя дрожь) после того, как получил письмо от Кириченко, секретаря Одесского обкома, который был завален письмами колхозников с просьбой о помощи и поэтому объехал область, чтобы самому убедиться – паникуют, как заведено, или же действительно кое-где есть провалы на продовольственном фронте.

«Дорогой Никита Сергеевич, поверьте, я бы не посмел обратиться к Вам с этим письмом, – писал Кириченко, – если бы не то ужасное, воистину катастрофическое положение на селе, свидетелем которого был я лично... Я начну с крохотной сценки: женщина резала трупик своего маленького сына, умершего от голода; она резала его на аккуратные кусочки и при этом говорила без умолку: „Мы уже съели Манечку, теперь засолим Ванечку, как-нибудь продержимся...“ На почве голода она сошла с ума и порубила своих детей... Во всех колхозах только

одна надежда, чтобы вновь ввели карточную систему, лишь это спасет область от *повального* мора...»

Хрущев представлял себе, что его ждет, зачитай он такое письмо Сталину на заседании Политбюро.

Он знал коварство этого человека, но одновременно всегда хранил в сердце негодующее почтение к нему; кто вытащил его из безвестности? Дал приобщиться к образованию? Ввел в ЦК? В Политбюро?!

Он, Сталин, с подачи Кагановича.

Хрущев впервые ужаснулся на февральском Пленуме ЦК, когда Ежов предложил немедленно расстрелять Бухарина и Рыкова, сидевших в зале заседания среди других членов ЦК; было внесено другое предложение: предать их суду военного трибунала; Сталин, пыхнув трубкой, покачал головой: «Прежде всего Закон, Конституция и право на защиту. Я предлагаю отправить их в НКВД, пусть там во всем разберутся... У нас следователи – народ объективный... Невинного они не обидят, невинного – освободят...»

Он говорил это спокойно, с болью, убежденно, – через две недели после того, как Юра Пятаков,

честнейший большевик, любимец Серго, умершего за несколько дней до открытия Пленума, признавался на очередном процессе в том, чего – Хрущев знал это тоже – не могло быть на самом деле!..

А в заключительной речи на Пленуме, когда Бухарина и Рыкова уже увезли в НКВД, где им дали право на доказательство своей невиновности, Сталин легко бросил: «Троцкистско-бухаринские шпионы и диверсанты...»

Второй раз он ужаснулся, когда Сталин проинформировал их: «Ежов – исчадие ада, убийца и садист, на нем – кровь честнейших большевиков... Он убирал конкурентов, мерзавец... Рвался к власти, мы все были обречены, вы все были обречены, все до одного, хотел сделаться русским Гитлером».

А на фронте? Хрущев мучительно вспоминал тысячи мальчишек-красноармейцев, которые – по его, Сталина, приказу – шли под пули немцев. Как он, Хрущев, бился, как молил Сталина отменить приказ о наступлении на Харьков! «А я не знал, что ты такой паникер, Хрущев, – сказал Сталин. – Сентиментальный паникер... Нам такие не нужны, нам нужны гранитные люди...»

И вот сегодня он должен заставить себя

вымолвить просьбу о возобновлении на Украине карточной системы, чтобы уберечь от голодной смерти сотни тысяч украинцев...

А не просить – нельзя: когда начнутся чума и голодные, кровавые бунты, отвечать придется ему, первому секретарю ЦК КПУ, кому же еще?!

...Не дослушав сообщения Хрущева, голос которого то и дело срывался на фистулу, Сталин резко оборвал его:

– Что, бухаринские штучки?! Ты кто? Мужик? Или рабочий?! Мы тебя держим в Политбюро для процента, заруби это на носу! Единственный рабочий – запомни! Не крестьянин, а рабочий! Знаю я мужика! Лучше тебя знаю... В ссылках у мужиков жил, не в дворянских собраниях! Работать не хотят, нахлебники, манны небесной ждут! Не дождутся. А будут саботировать поставки – попросим Абакумова навести порядок, если сам не можешь... После такого доклада, как твой, тебя надо было бы примерно наказать и вывести из ПБ, как кулацкого припевалу, только у нас беда: тут сидят одни партийные бюрократы и министры. – Сталин медленно обвел взглядом лица членов Политбюро. – Не играй на этом, Хрущев, голову сломишь... Есть мнение, товарищи, – резко заключил Сталин, – рекомендовать первым секретарем Компартии Украины Кагановича...

Он в Киеве родился, ему и карты в руки... Хрущева от занимаемой должности освободить... Перевести Председателем Украинского Совета Министров... И чтоб государственные поставки были выполнены! Если нет – пенять вам обоим придется на себя...

...В кремлевском коридоре, когда расходились члены Политбюро, Берия шепнул:

– Берегись... А то, что решился сказать правду, – молодец, в будущем тебе это вспомнят, поступил, как настоящий большевик.

...Никто другой не сказал ему ни слова – обходили взглядом...

Вот именно тогда-то он и признался себе: «Мы все холопы и шуты... По сенькам шапка... Хоть бы один меня вслух поддержал, хоть один бы...»

Однако, когда через месяц Сталин позвонил ему – уже в Совет Министров – и осведомился о здоровье, сказал, что понимает его трудности, «держись, Никита Сергеевич, если был резок – прости», Хрущев не смог сдержать слез, всхлипнул даже от избытка чувств.

Сталин же, положив трубку, усмехнулся, заметив при этом Берия:

– Докладывают, что он во всех речах клянет свои ошибки... Его беречь надо, такие нужны, в отличие от всех... Он хоть искренний, мужик и есть мужик.



И снова четыре недели Исаева не вызывали на допрос; душили стены камеры, выкрашенные в грязно-фиолетовый цвет; днем – тусклый свет оконца, закрытого «намордником», ночью – слепящий свет лампы; двадцатиминутная прогулка, а потом – утомительная гимнастика: отжим от пола, вращение головы, приседания – до пота, пока не прошибет.

«Приказано выжить»... Эти слова Антонова-Овсеенко он теперь повторял утром и вечером.

Первые недели он порою слеп от ярости: чего они тянут?! Неужели так трудно разобраться во всем?! Но после общения с Сергеем Сергеевичем понял, что никто ни в чем не собирается разбираться, ему просто-напросто навязывают комбинацию, многократно ими апробированную.

Они, однако, не учли, что я прожил жизнь в одиночке, четверть века в одиночке, наедине с самим собой, со своими мыслями, которыми было нельзя делиться ни с кем – даже с радистами; суровый закон, испепеляющий, но – непреклонный...

Они думают, что отъединение от мира, неизвестность, мертвая тишина, прерываемая звоном кремлевских курантов и идиотскими

выкриками «пост по охране врага народа» (нельзя называть меня «врагом», пока не вывели на трибунал, я – «подследственный», азбука юриспруденции), сломят меня, сделают истериком и податливым дерьмом. Хрен!

Спасибо им за эту одиночку, я волен думать здесь, я совершенно свободен в мыслях; единственный выход – свободомыслие в тюрьме; страшновато, но, увы, – правда, поэтому-то я и вычислил, что не имею права говорить ни слова про Сашеньку и сына, нельзя открывать свою боль, это – непоправимо, будут знать, на что жать...

Ты достаточно открылся, когда работал на даче, признался он себе с горечью, не забывай этого. Видимо, они тянут не только потому, что это – метод, они составляют какой-то особый план, понимая, что со мной работать не просто, профессионал... Ерунда, возразил он, комиссар госбезопасности Павел Буланов тоже был профессионалом, вывозил Троцкого в Турцию, до этого круто работал по бандформированиям, а что плел на бухаринском процессе?! Какую ахинею нес?! Как оговаривал себя?! «Я опрыскивал ртутью кабинет Ежова». А что, пулю в лоб он не мог пустить?! Надежней, чем ртуть разбрызгивать, сам, кстати, первый от этого разбрызгивания и должен был помереть.

Они готовят план, исходя из системы своих аналогов, из наработанного ими опыта, – именно поэтому они сторят на мне. Я помню, как мистер Шиббл, когда мы шли в Парагвай через сельву, смеялся, рассказывая, что является признанным эталоном красоты индейской женщины: плоское лицо, надрезы на щеках, закрашенные ярко-красной смолой, зачерненные зубы и кольцо в носу.

А что, верно, у каждой этнической группы свой эталон красоты и манеры поведения: где-то на Востоке принято рыгать, только тогда хозяин удостоверится, что его гость сыт, высшая форма благодарности...

Сергей Сергеевич и тот, кто им управляет, имеют свои эталоны; что ж, посмотрим, как мы наложимся друг на друга.

...На очередной допрос его вызвали в три часа. Сегодня, однако, его подняли на лифте, ввели в приемную – окно затянуто мелкой сеткой, чтоб никто из арестованных не сиганул головой вниз; за столом-бюро сидел элегантный мужчина в штатском; много телефонов; раньше у нас в ЧК были совершенно другие модели – с «рогами», трубки изогнутые, чтобы говорить прямо в мембрану, а здесь сплошь немецкие, самой

последней формы, наверное, вывезли из Германии.

Поднявшись из-за стола-бюро, мужчина отпустил надзирателей и предложил Исаеву:

– Устраивайтесь на диване, руководство скоро освободится...

...Портрет Дзержинского, напротив – Сталина в форме генералиссимуса.

По-моему, никто из русских царей, подумал вдруг Исаев, не чеканил победные медали со своим изображением; в России был Георгиевский крест, были ордена святых – Анны, Владимира; во Франции – розетка Почетного легиона; даже Наполеон не изображал свой профиль на медалях; Сталин не постеснялся.

Странно, отчего мы начинаем думать об очевидном и поражаться этому, только когда судьба ставит нас к стенке? Спасительный инстинкт отгораживания от правды? Как у раковых больных? Что это – новое в нас или традиция? «Моя хата с краю, ничего не знаю» – вошло в поговорку более столетия тому назад... Значит, не можем без царя? Нужен Патриарх? Макс Нордау писал, что вырождаются не только преступники, в которых заложен изначальный посыл зла, но и артисты, политики, писатели,

ученые, художники, цвет нации... Неужели этот паршивый прародитель нацизма был прав? Нет, он не был прав, ибо предрекал исчезновение такой «выродившейся» нации, как французы, но ведь рухнула не Франция, а именно Германия; немецкий народ несет на себе отныне тавро нацистского проклятия: нация разрешила фюреру и его банде создать государство ужаса, называвшееся ими «рейхом счастья»; немцы помогли созданию государства, где директивно, по указанию главного пропагандиста Геббельса, назначались «talанты», а подлинные таланты изгонялись за границу или сжигались в концлагерях... За все время правления Гитлера не было создано ни одного романа, фильма, картины или спектакля, которые бы оставили о себе память... А изгнанные Брехт и Эйслер знакомы каждому в мире, как и Манн, Ремарк и Фейхтвангер... И ведь немцы аплодировали изгнанию своих гениев, ревели «хайль», когда проезжал обожаемый фюрер, а потом становились в очередь за маргарином, отпускавшимся по карточкам, но в этом были виноваты большевики, масоны, евреи и мы, славянские недочеловеки, кто же еще?!

А что бы могло случиться с миром, не выгони они Альберта Эйнштейна? Всех тех евреев-физиков, которые сделали американцам атомную бомбу?!

Несчастливые немцы... Гитлер рассказывал всю нацию по контролируемым, поднадзорным сотам: каждый был членом какой-нибудь гильдии, общества, группы, домового комитета национал-социалистической немецкой рабочей партии; в каждом парадном был представитель «гитлерюгенда» и профсоюзного «трудового фронта» партийного товарища Лея... Он, Гитлер, и его партия превращали людей в бездумные автоматы, они разделяли общество, но ведь лишь человек многогранных интересов, занятый не только бизнесом, но и живописью, не только золотыми рыбками, но и спортом, может способствовать уменьшению разнородности нации, ее единению... Гитлер дал право злым, грубо сильным, недалеким, коварным и обязательно рабски послушным стать пастырями, это и привело нацию к гибели: народ не может вести хамы, покорные фюреру; покорные трусы ничего не могут без приказа сверху, они теряются, когда надо принять самостоятельное решение, они некомпетентны, они парализованы тем авторитетом, в который их заставили поверить... А не верили б! Как можно заставить человека поверить в то, что перед ним лев, когда на самом деле это крыса?! Но заставили же! Поверили! Как?! В чем секрет этого механизма оглушения и покорения народа? А мы? Мы, наши люди?..

На столе-бюро что-то запищало, мужчина в штатском поднялся:

– Пожалуйста, вас приглашают к руководству.

Поддерживая локтями брюки, Исаев направился к двери; проходя мимо мужчины, заметил:

– В двадцать первом в этом помещении работал Сыроежкин и его группа, те, которые потом взяли Савинкова.

...Нынешний кабинет, куда вошел Исаев, был раза в четыре больше, чем все помещение группы Сыроежкина; видимо, объединили несколько комнат.

За большим столом сидел крупный, хорошо сложенный человек; ношенный пиджак висел на одном из стульев, окружавших большой стол заседаний; рубашка на этом крупном мужчине с симпатичным лицом и очень живыми глазами была застиранная, мятая, черный галстук приспущен.

– Ну, здравствуйте, Всеволод Владимирович, – сказал он, – присаживайтесь, я заказал кофе и бутерброды. Наша баланда, видно, стоит у вас

поперек горла? Только-только карточки отменили, что вы хотите, страна лишь начинает оживать...

– Она по-настоящему оживет, – заметил Исаев, – когда не будет сажать своих солдат в одиночки внутренней тюрьмы...

– Тоже верно, – легко согласился мужчина. – Вы правильно расставили акценты: «своих солдат». Чужих – будем сажать и ставить к стенке.

– Докажите, что я не «свой», – можете ставить к стенке.

– Ну, знаете ли, у меня нет времени доказывать вашу невиновность! Это вам – карты в руки! Мне надо шпионов ловить, бендеровцев выкуривать из лесов, мельниковцев, литовских и эстонских «черных братьев»... Кто это за нас будет делать?!

– Я хотел бы знать, с кем я разговариваю. Вы не представились.

– Помощник разве не сказал? Называйте меня генерал Иванов. Можете по имени-отчеству: Аркадий Аркадьевич...

– Я бы хотел спросить вас, в чем меня



обвиняют? Я уж тут отдыхаю третий месяц, пора объясниться...

– Именно за этим я вас и пригласил, Всеволод Владимирович.

Генерал положил крепкую руку на четыре папки, что лежали возле телефона, отличавшегося от всех остальных формой и цветом, внимательно, с некоторой долей сострадания осмотрел Исаева, поинтересовался, хочет ли его собеседник курить; выслушав отрицательный ответ, покачал головой: «Не все обладают такой силой воли, порою за одну затяжку такое начинают нести, что хоть уши затыкай...»

– Давайте по делу, – Исаев говорил сухо, совершенно спокойно, ибо он понял, что сейчас-то и началась игра; он слышал об этом от Айсмана, прием назывался «тепло против холода».

– Давайте, – согласился тот, кто представился «Аркадием Аркадьевичем Ивановым». – Все документы, которые нам удалось собрать на вас, были доложены высшему руководству. Меня уполномочили передать: будущее в ваших руках, Всеволод Владимирович...

– То есть?